УДК 37.035.7(47+57)"1930/1940"

С. Э. Зверев, Н. Б. Сторожев

Воспитание ненависти к врагу в советской воинской культуре 30–40-х гг. XX в.

Статья посвящена рассмотрению особенностей воспитания Красной армии в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны. Воспитание ненависти к военным противникам СССР было естественным следствием кампании ненависти, первоначально служившей средством пробуждения социальной активности населения в ходе масштабных реформ 30-х гг. XX в. Отмечается, что разжигание ненависти к врагу не могло заменить полноценного речевого воспитания и правильной речевой организации советского общества. Делается вывод о необходимости воспитания военнослужащих на основе деидеологизированных позитивных ценностей героического пафоса.

Ключевые слова: военная риторика, воспитание ненависти, пафос общественной речи, основной нравственный закон войны

Sergey E. Zverev, Nikolay B. Storogev

Education hatred of the enemy in the Soviet military culture 30–40's of the XX century

The article considers the peculiarities of education of the Red Army during the interwar period and during the Great Patriotic War. Education of the hate to military opponents of the USSR was the natural result of a campaign of hatred, which originally served as a means of awakening the social activity of the population in the course of large-scale reforms in the 30-ies of XX century. It is noted that the incitement of hatred of the enemy could not replace a full voice education and correct speech organization of Soviet society. The conclusion bases on the need for education of the servicemen on the basis deideologized positive values of the heroic inspiration.

Keywords: military rhetoric, education hatred, inspiration of public speech, the main moral law of war

По мере углубления в СССР прогресса в области просвещения широких народных масс, последние все отчетливее приобретали характер читающей **публики**, согласно закону, открытому в XIX в. французским социологом Г. Тардом. Это было величайшим достижением советской системы, поскольку, по Тарду, все социальные группы населения сливаются в публике, а значит «на публике гораздо ярче отражается индивидуальный отпечаток ее создателя, нежели дух национальности»[1]. Не будет преувеличением сказать, что образование советской многонациональной государственной системы было бы невозможно без посредства печати.

Но, сказав «а», приходится говорить и «б». Какую информацию пресса должна была преподносить советской публике? Победы на ниве социалистического строительства, достижения науки и техники, военные и трудовые подвиги советских людей наряду с фактами загнивания капиталистического общества, бедственного положения трудящихся Запада и борьбы зарубежного рабочего класса за свои права всегда стояли в центре внимания газет и журналов. Но по закону жанра газетная информация не может обходиться без некоторого негатива, щекочущего нервы публики. Или, если говорить в терминах философии применительно к общественной речи, пресса не может все время оперировать диалектической, учительной речью, она в равной степени должна апеллировать и к практическим (читай, повседневным, а где-то и низменным) интересам читателей. И вот с этой тематикой советские газеты должны были испытывать явные затруднения, поскольку темы секса, насилия и катастроф, которые безотказно муссируются современными средствами массовой пропаганды, в СССР, строившем самое справедливое в мире общество, оказывались табуированными.

Обратимся еще раз к Тарду: «Для толпы потребность ненавидеть соответствует потребности действовать. Возбуждение в ней энтузиазма не поведет далеко, но дать ей повод и предмет ненависти значит дать толчок ее деятельности… Открыть или изобрести новый значительный повод для ненависти для публики – это одно из наиболее верных средств стать в первые ряды царей журнализма»[2].

Итак, возбуждение ненависти – надежное средство побуждения публики к деятельности. Советской власти невозможно было долгое время держаться на одном только революционном энтузиазме, к чему и так было склонно

явное меньшинство населения, которое, вдобавок, весьма сократила Гражданская война. Требовалось переходить к более сильным средствам, обещавшим дать **толчок** деятельности на ниве социалистического строительства. Для возбуждения ненависти в советской публике у партийных руководителей всегда под рукой был испытанный тезис сначала о «враждебном капиталистическом окружении», потом о пресловутых «врагах народа». Последние были особенно удобны, поскольку их уничтожение не доставляло власти, фактически, никаких хлопот, зримо демонстрируя ее силу и решительность.

Однако худшего вреда воспитанием ненависти к «врагам народа» Красной армии не мог бы нанести никакой действительный враг. Бурно декларируемая на собраниях, митингах и резолюциях на «расстрельных» списках ненависть к бессильному «врагу», соединенная со страхом за собственную, так необходимую партии и Родине жизнь, подобно кислоте разъедала чувство чести и товарищества, которое традиционно созидает любое воинское сообщество.

Интересно проследить, как нагнеталась ненависть по отношению к внешнему врагу в военных конфликтах второй половины 30-х гг.

Например, самая распространенная инвектива в советской военной риторике в боях на озере Хасан – «гады»[3]. И это при том, что в вооруженном конфликте вокруг КВЖД никаких инвектив в адрес противника не наблюдалось. Напротив, советские бойцы и командиры врывались во вражеские окопы с криком «хуидан хо, контромим хо» («красные хорошие, не убивают»). На Хасане же не было и намека на пролетарский интернационализм по отношению к японским рабочим и крестьянам, одетым в солдатские мундиры. Все они вместе со своими офицерами и генералами были объявлены «самураями» и «гадами».

Вот как, например, напутствовал своих подчиненных перед штурмом сопки Заозерной 6 августа 1938 г. командир танковой роты старший лейтенант М. Сирченко: «Товарищи, сказал я, – покажем японским бандитам, насколько мы сплоченны, могучи, крепки и непобедимы. Сметем фашистскую нечисть с нашей родной земли!..»[4]. И дальше бравый танкист с упоением описывал преследование врага: «Перед нами была не отступающая армия, а огромное стадо обезумевших зверей, спасающихся от лесного пожара. Японцы бежали большими беспорядочными толпами, в панике, расталкивая друг друга и дико вопя… Надо было беречь боеприпасы и я подал по радио команду экипажам танков:

– Не расходуй зря патронов. Дави врага гусеницами»[5].

Какое отличие от «хуидан хо, контромим хо» на КВЖД!

Но жестокость и воинская доблесть – понятия несовместимые. И комиссары уже вписывали в свои блокноты памятки следующего содержания: «Предупредить попытки дезертирства, характеризовать это как измену родине. Самая жестокая борьба с паникерами»[6]. Эти строки полкового комиссара Г. Клинова, написанные им 5 августа 1938 г., показывают, что части советских военнослужащих для того, чтобы беспощадно бить «гадов», стала требоваться помощь органов военной прокуратуры. И эта помощь Красной армии, в отличие от конфликта на КВЖД, у Хасана деятельно оказывалась.

Советская пресса старательно возвеличивала комиссаров, которые в боях у Хасана «показали подлинно большевистское лицо зубастого комиссара, стойкого большевика»[7]. Видимо, этим решительно настроенным личностям советская военная риторика рассматриваемого периода была обязана крайней напористостью и злобной агрессивностью. «Враг дорого поплатился за гнусную попытку сунуть свое свиное рыло в наш советский огород, – говорилось, например, в обращении командно-политического состава 39-го стрелкового корпуса к личному составу, изданном сразу по окончании боев у озера Хасан. – Он поставлен на колени, он первый запросил о перемирии. Мы должны помнить, с кем имеем дело. Мы должны помнить, что самурайская сволочь не отказалась от борьбы с нами, она будет искать наши слабые места, чтобы попытаться нанести новый удар… Товарищи! Крепите свои окопы, траншеи и пулеметные гнезда так, чтобы граната, снаряд и острый штык винтовки всегда были наготове и в нужный момент метко уничтожали ненавистных врагов – японских самураев»[8].

Ясно, что к составлению речи приложил руку Л. З. Мехлис. Чувствуется стиль высокого ответственного работника, явленный во всей красе еще на заседании Военного совета 4 июня 1937 г., когда собравшиеся дружно честили «врагов народа». Конечно, армейские политработники всегда полагали, что «наиболее видное место в системе политического воспитания должно занимать **ненависть к врагам СССР**»[9]. Но такое обилие грубых инвектив – явление новое в русской и даже советской военной риторике, особенно для жанра благодарственного приказа, роль которого формально играло приведенное обращение.

Не призывы к благородному подвигу и героизму, а разжигание ненависти к врагу, не стяжание победных лавров и бессмертной воинской славы, а мобилизация на полное **унич-**

тожение противника становились доминантой речевого воспитания советских войск. Да и противник совершенно лишался каких-либо человеческих черт, запечатлеваясь в сознании красноармейцев и командиров только образами самых отвратительных и нечистых представителей фауны, что, конечно, психологически чрезвычайно облегчало задачу его беспощадного истребления. Преодоление нравственного закона было успешно отработано большевистской пропагандой еще в годы Гражданской войны; в репрессиях и военных конфликтах 30-х гг. оно получило новое направление, основанное на воспитании уже не классовой, а **зоологической** ненависти.

Взращивание этого иррационального чувства, никак не связанного с воспитанием твердого осознания воинского долга и истинных интересов отечества, подогревавшееся зачастую примитивными политическими провокациями, полагалось надежным средством двинуть войска в бой в интересах политики государства. Возбуждение такого грубого, примитивного и низменного чувства, как ненависть, заменяло этический принцип воинского служения, традиционно строившийся вокруг евангельской заповеди «нет выше той любви, аще кто душу свою положит за други своя…» (Ин. 15:13). Это, безусловно, не облагораживало и не возвышало советских военнослужащих, среди которых с каждым военным конфликтом подозрительно умножалась категория лиц, в Гражданскую именовавшихся «шкурниками».

В ходе боев на р. Халхин-Гол военной прокуратурой было заведено 290 дел; самыми массовыми преступлениями были, как и у Хасана, побег с поля боя – 24 дела и членовредительство (самострел) – 122 дела. Это уже было новшество, много говорящее о состоянии духа красноармейцев, которых в наступление предпочитали водить под звуки «Интернационала», поскольку отмечалось, что бойцов было непросто заставить не то чтобы возглашать в бою советские лозунги, но и просто кричать «ура»[10].

В лесах и болотах Финляндии **класть свою душу** стремились также далеко не все. Причем среди командиров процент дезертиров и членовредителей (46 % осужденных) был даже выше, чем среди красноармейцев и младших командиров (39 % осужденных)[11]. Отсутствие в РККА внятного, понимаемого и разделяемого всеми кодекса воинской чести рикошетом било и по чувству взаимного уважения, и войскового товарищества, что снижало и без того невысокую цену человеческой жизни на войне и в недалеком уже будущем стало порождать у части командиров уверенность, что «война все спишет».

Как написал в предисловии к своей книге «Мы из сорок первого…» тонкий и образованный наблюдатель происходивших событий Д. К. Левинский, перед Великой Отечественной войной «страна жила двойной жизнью…»[12]. И это замечание совершенно справедливо. По крайней мере, в общественной речи Страны Советов к началу войны можно выделить даже не два, а три стандарта, определявших ее содержание.

Первый стандарт обнимал систему ценностей высшего эшелона партийно-государственного, в том числе и военного, аппарата. Ценности эти были прагматично-политическими; фактически они лежали в концептуальном поле государственного пафоса общественной речи, только в силу особенностей строя снабженного эпитетом «советского». При этом они постепенно и закономерно трансформировались в ценности имперские, национально-государственные, если понимать под нацией (по Э. Геллнеру) партийную номенклатуру. Для этой категории, собственно и определявшей направление политики СССР, война и агрессия воспринималась как вполне приемлемый инструмент реализации государственных интересов. Например, за месяц до начала войны 20 мая 1941 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин высказался следующим образом: «Война – это такой момент, когда можно расширить коммунизм»[13].

Второй стандарт, относившийся к основной массе населения Советского Союза, представлял собой интересный конгломерат из интернационально-классовых ценностей практической морали «отживавшего» свой век в средствах массовой информации социального пафоса и активно внедряемых в диалектическую речь ценностей «прогрессивного» государственного пафоса. Новые ценности хорошо приживались, пожалуй, только у выросшего и воспитанного уже при советской власти молодого поколения, которому, по единодушному мнению фронтовиков, мы обязаны победой в Великой Отечественной.

Большинство людей среднего и старшего возраста, особенно крестьян, за счет которых были достигнуты грандиозные успехи советской власти, были не столь категоричны в безусловном принятии этой власти. Массовым террором 30-х гг. привычка открыто высказывать свое недовольство политикой партии, конечно, была изгнана на периферию общественного сознания, но это недовольство никуда не делось и, лишенное естественных форм выражения

в общественной речи, грозило обрести асоциальные формы в случае ослабления партийно-энкаведистского намордника. Для этой категории война представлялась именно тем, чем она и являлась, – величайшим народным бедствием.

Третий стандарт, состоявший из «классических» ценностей социального пафоса, был рассчитан на «забитое и бесправное» при прежних хозяевах население вновь присоединенных к СССР в 1939–1940 гг. территорий Западной Украины и Белоруссии, Бессарабии, части Финляндии и трех прибалтийских государств. Инкультурация этих людей в советский социум происходила труднее всего. Не имея прививки советского двоемыслия, не успев перевариться в котле массовых репрессий, не задавленные оглупляющим страхом иметь и высказывать собственное мнение, эти люди, как правило, решительно не принимали не только «большевистского», но и русского языка, на котором государственная пропаганда преподносила им ценности социального пафоса. После того, как осенью 1940 г. в «освобожденных» областях Западной Украины и Западной Белоруссии состоялся первый призыв местной молодежи в ряды РККА, по свидетельству Д. К. Левинского, новобранцы «русский язык… категорически отвергали… служить в нашей армии не хотели…»[14].

Наличие перечисленных слоев в общественной речи иллюстрирует расколотость советского общественного сознания накануне войны. Положение усугублялось тем, что в отсутствие свободы слова, возможности явно выразить протест, открыто заявить о своей позиции общественная речь в СССР в 30-е гг. приняла ритуализованные формы, фактически решая задачи социальной мимикрии значительной части населения СССР. Это повлекло падение той самой сознательности, которая всегда пропагандировалась большевиками как визитная карточка советского народа и его Красной армии. По крайней мере, Андре Жид оставил такую нелицеприятную характеристику советского общественного сознания: «…не думаю, что в какой-то другой стране, **хотя бы и в гитлеровской Германии** (выделено нами. – *С. З., Н. С.*), сознание было бы так несвободно, было бы более угнетено, более запугано (терроризировано), более порабощено»[15].

Самое опасное для вступившей в войну армии было то, что **на протяжении предвоенного десятилетия всепроникающим страхом перед репрессиями постепенно убивалась сознательность бойцов и их вера в своих командиров и свободное и творческое военное мышление у самих командиров**. Об этом впоследствии писали и говорили многие советские военачальники, например, Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. В. Горбатов, А. И. Грибков и др. Печальные следствия не заставили себя долго ждать. Они проявились в крайне низкой боевой устойчивости советских войск в первые месяцы войны.

Ветеран Гражданской войны, воевавший в Испании и Финляндии, кадровый командир-артиллерист Иван Яковлевич Кузнецов многозначительно записывал в своем фронтовом дневнике уже 31 июня: «Положение серьезное, пехота слабо сопротивляется – бегут, бросая все по пути, вплоть до сапог. Нужны заградотряды»[16]. С образованием последних, как известно, не медлили.

И вот, задаваясь вопросом, почему полуголодная, разутая и раздетая пехота Красной армии в годы Гражданской войны дралась «как львы», а на Великой Отечественной, когда «все есть, все обеспечены», «плохо ведет себя в бою», этот достойный человек, солидаризуясь с довоенными наблюдениями Андре Жида, приходил к выводу: «…**как видно нет одного – сознания** (выделено нами. – *С. З., Н. С.*)»[17]. Нет сознания – это значит, нет идеи, за которую войска могут возлагать жертвы «телом и кровью» на алтарь отечества. Крах советской интернационально-классовой идеи, точнее советской мифологии, летом 1941 г. был очевиден.

В отсутствие безоговорочно разделяемых большинством позитивных ценностей в советском общественном сознании, государственная пропаганда вынуждена была прибегнуть к насаждению ценностей негативных. Для того чтобы воевать, по мысли большевистского руководства, надо было это сознание ожесточить. И вот усилиями советских литераторов и публицистов в общественной речи начала упорно раскручиваться тема ненависти к немецко-фашистским захватчикам и мести за совершавшиеся ими злодеяния, поиском которых, как показывают документы, был в то время чрезвычайно озабочен начальник Главного управления политической пропаганды РККА Л. З. Мехлис.

Необходимо отметить, что кампания разжигания ненависти в начале войны была чуть ли не единственным для советской власти средством пробудить в народе силы сопротивления агрессору. И все же весь 1941 г. добиться этого, по существу, не удавалось. Крестьяне, по свидетельству М. М. Пришвина, в войне вообще выделяли три стороны: «„он“ – о немцах и „они“ о большевиках, и какие-то „мы“ как их пленники», причем в разговорах открыто полагали, что «он будто бы вовсе не жесток и „зверства“ выдуманы (множество легенд о его справедливости)»[18].

Такое положение дел было, повторимся,

естественным следствием политики перманентных репрессий, проводившейся на протяжении 30-х гг., угасания общественного сознания и неразрывно связанной с этим ритуализации общественной речи в СССР.

При невозможности эффективно воздействовать на духовную сторону личности советского человека, власти оставалось пытаться воздействовать на биологическую. В условиях разложения в общественном сознании ценностей социального пафоса и относительной задержки с восприятием ценностей пафоса героико-патриотического, который зазвучал в радиообращении И. В. Сталина от 03. 07. 41 г., докладе на торжественном заседании трудящихся 06. 11. 41 г. и в речи на параде 07. 11. 41 г., приходилось компенсировать ценностный нигилизм массы советского населения испытанным в 30-е гг. на «врагах народа» приемом внушения **зоологической**, нерассуждающей и не ищущей оправдания ненависти.

«Товарищ Сталин учит советский народ, – читаем, например, в „Памятке агитатора“, – что нельзя победить врага, не научившись ненавидеть его всеми силами души. Ненависть – это священное чувство, которое ведет нас в бой с врагом… Задача агитаторов состоит в том, чтобы укреплять в каждом советском человеке чувство испепеляющей ненависти к гитлеровским палачам, неустанно воспитывать стремление к победе над лютым врагом, страстную жажду мести немецким мерзавцам за все их злодеяния»[19].

Показательное для советской военно-политической риторики 1941–1942 гг. увлечение эпитетами прорывалось в признании ненависти **священным** чувством, что было очень характерным для **ветхозаветной** нравственности. При завоевании избранным народом земли обетованной Иисус Навин, например, не произносил речей, имевших цель сформировать боевой настрой израильского воинства; он только налагал заклятья, которые предписывали определенный порядок действия воинов в бою и особенно после боя. При взятии Иерихона «Иисус сказал народу: воскликните, ибо Господь предал вам город! Город будет под заклятием, и все, что в нем – Господу [сил]… и все серебро и золото, и сосуды медные и железные да будут святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню» (Ис. Нав. 6: 15–18). Итогом воспитания ненависти стал парадоксальный факт включения ветхозаветной заповеди «око за око, зуб за зуб» в сборник военных пословиц **русского** народа!

Мы воздержимся от развернутой оценки не имевшего до той поры аналога в русской культуре творчества И. Г. Эренбурга, ставшего, можно сказать, рупором и символом воспитания в армии и народе зоологической ненависти к противнику. Отметим только, что жанры клятвы и обращения коллективов воинских частей, принимавшиеся непременно после каждого митинга, счета и письма ненависти отдельных красноармейцев, потоком хлынувшие в редакции армейских многотиражек в 1942–1943 гг. в результате инициированной пропагандистской кампании, как-то неуловимо унижают (в лучшем случае – принижают) пафос борьбы народа в Великой Отечественной войне.

И все же воспитание в советских войсках ненависти мало способствовало повышению их боеспособности. Разлитие ненависти и жестокости с большим трудом удавалось каналировать в сторону противника, об этом свидетельствует хотя бы появление 4 октября 1941 г. приказа И. В. Сталина № 0391 под говорящим названием «О недопущении подмены воспитательной работы репрессиями». Воспитание на негативных ценностях не возвышало дух и не укрепляло души командиров и бойцов, провоцируя проявление агрессивности по отношению прежде всего к **безопасным** объектам ее приложения: пленным и собственным подчиненным. Не в последнюю очередь это способствовало торжеству на полях сражений «затратной» стратегии, особенно в 1942 г., принесшем наибольшие кровавые потери за всю войну.

Ощущали ненадежность воспитания армии, основанной исключительно на ненависти к врагу, видимо, и виднейшие партийные руководители. Недаром М. И. Калинин в речи на совещании секретарей обкомов комсомола по пропаганде 28 сентября 1942 г. советовал: «В агитации и пропаганде надо всячески избегать шумихи… **Теперь нужно толково и терпеливо разъяснять людям то, что происходит в жизни, правдиво говорить о переживаемых людьми трудностях** (выделено нами. – *С. З., Н. С.*)»[20]. Действительно, с людьми, ложившимися в крови и грязи под немецкими пулеметами, надо было **просто говорить** и говорить отнюдь не «языком плаката», а **разъяснять**, т. е. окрашивать официальную информацию личным отношением к ней агитатора. А что касается до воспитания ненависти, то об этом «всесоюзный староста» на совещании агитаторов 22 июля 1942 г. со стариковской мудростью замечал: «Много у нас говорят о ненависти к врагу… Бой, беспощадный бой с врагом, вот что развивает ненависть к врагу»[21].

Видимо поэтому основной упор в войсковой агитации и пропаганде партийная власть в лице М. И. Калинина стремилась теперь делать на принцип «делай, как я». На его вопрос, об-

ращенный в аудиторию армейских агитаторов, что является главным в их работе, масса густо и уверенно отвечала: «Героизм!» И сам Михаил Иванович подтверждал это: «…главное в агитационной работе на фронте… это личный пример отваги и доблести, овладения военной техникой… воинское умение в сочетании с ясным пониманием задач нашей борьбы – это главное для агитаторов»[22].

Характерна многозначительная оговорка **в сочетании**, свидетельствующая о том, что политический аспект агитации и пропаганды в армии и на флоте в 1942–1943 гг. отходил на второй план. В этой же речи, говоря о воспитании у бойцов стойкости, М. И. Калинин оговорился вторично: «Стойкость вырабатывается прежде всего боем, активными боевыми действиями по уничтожению живой силы и техники врага»[23].

Новые нотки звучали в строках обращения Военного совета 3-й армии генерала А. В. Горбатова, посвященном подготовке к форсированию Днепра 23 июня 1944 г. – операции, давшей наибольшее число Героев Советского Союза за всю войну: «…Настал и наш час громить фашистское зверье… Летнее наступление Советской армии уже началось. Наши товарищи на Ленинградском фронте успешно громят немецко-фашистских извергов. Гитлеровцы дрожат, ожидая нашего удара. Мы хорошо подготовились к этому наступлению. Осталось только полностью использовать технику. Решительно рвите оборону врага… Военный совет армии призывает вас умножить славу советского оружия. Очистим нашу землю от немецких захватчиков – добьем раненого зверя в его берлоге. Вперед, к славе и победе!»[24].

Войска призывали уже не как прежде **душить**, **истреблять**, **проливать потоки черной вражеской крови**[25] и т. п., а **громить** противника, что означало наносить ему военное поражение, а не физически уничтожать. Характерно, что пропорционально умалению зоологической ненависти и жестокости в текстах обращений военных советов начинало доминировать самое «военное» понятие – слава. И это, на наш взгляд, является важнейшим следствием **основного нравственного закона войны**: в безжалостном истреблении себе подобных нет славы, а там где нет славы – нет и победы.

Слава – понятие, которое, к великому сожалению, уже почти не встречается в речи современных военных, по самой своей этимологии предполагает сказ о деяниях, память о которых не стыдно передать потомству. В этом смысле **дурная** или **злая** слава, в сущности, оксюморон. Слава предполагает ценностное восприятие события, лица или явления, неизбежно обращающее к проблеме добра и зла.

«Зло не может быть славным», – так устами Зенона рассуждал еще Луций Анней Сенека. Убийство есть зло, следовательно, выстроив нехитрый силлогизм, приходим к мысли, что убийство не может быть славным, а значит и простое истребление неприятеля, равно как и призывы к нему, не могут увенчать славой, т. е. никогда не приведут к настоящей победе.

Воинская слава начинается с победы нравственной, которая неразрывно связана с ощущением **превосходства**. Не могущества, выражающегося в торжестве одной только военной мощи, а именно превосходства – понятия интегрального, соединяющего военную силу и благородство духа в фактор, неизбежно приносящий победу.

Из **нравственного** закона войны черпает основания **психологический** закон боя, сформулированный в XX в. русским военным теоретиком Н. Н. Головиным: «Каждый бой кончается не исчерпанием материальных сил и средств, а психологическим актом: отказом от борьбы одной из сторон»[26]. Этот самый отказ от борьбы (т. е. признание поражения) имеет место только при осознании полного превосходства противника: как в численности, технике и вооружении и других ресурсах, оперативно-стратегических талантах командования и тактической подготовки войск, так и в превосходстве его духа, отражающего состояние общественного сознания страны-противника. Закон этот очень важен для понимания развития и исходов войн и военных конфликтов; его правильное применение порой позволяет даже в случае военного поражения говорить об «отсроченной победе» и трактовать явный успех как «отсроченное поражение».

Превосходство, уверенно ощущавшееся немцами на первом этапе Великой Отечественной войны, объяснялось не столько могуществом немецкой техники и даже не совершенством их военной организации, но и превосходством боевого духа, если угодно, «тевтонской ярости» над угасшим под действием ритуализованной общественной речи интернационально-классовым сознанием армии «страны победившего социализма». По совокупной боевой мощи советские войска как раз превосходили немецко-фашистскую армию. Утрату своего морального превосходства немцы начали ощущать только на Волге, по мере созревания в советском народе и его армии нового патриотического сознания, замешанного не на ложной идее о неведомых классовых преимуществах и не на ненависти, а на готовности на первых порах

жертвовать всем ради родины. «Нет сомнения в том, что в русских произошли какие-то внутренние изменения, – записывал под Сталинградом во фронтовом дневнике офицер 6-й немецкой армии К. Подевильс 6 сентября 1942 г. – **Движущими силами в их сопротивлении являются любовь к Родине** (выделено нами. – *С. З., Н. С.*), находящейся под угрозой…»[27]. Примечательно, что даже немец отметил приоритет «позитивных» патриотических ценностей с сознании советских бойцов над «негативными». Однако до тех пор, пока в советской общественной речи звучали мотивы ненависти и кровавой мести, перелома в войне не было, несмотря на все чудовищные жертвы 1942 г.

Ненависть питается страхом и не может свидетельствовать о превосходстве. Разнообразные клятвы и злобные инвективы в адрес врага почти ничего не меняли в соотношении сил. В этом смысле призывы типа «гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб» разжигали ненависть только, пожалуй, в окопавшихся в безопасном Ташкенте творческих работниках. Вскипевшая на таком расстоянии от фронта у этой достойной части советской интеллигенции «ярость благородная» не могла, конечно, нанести большого вреда той самой нечисти, к безжалостному истреблению которой она так истово призывала.

Качественно изменившееся советское общественное сознание второго периода войны явственно отразилось в общественной речи; тексты обращений к войскам стали демонстрировать поистине «лирические» оттенки, подчеркивающие благородство и величие солдатского подвига. Так, например, звучало обращение Военного совета Воронежского фронта бойцам 40-й армии, готовившейся пересечь Днепр: «Славные бойцы, сержанты и офицеры! Перед вами – родной Днепр. Вы слышите плеск его седых волн. Там, на западном берегу, – древний Киев – столица Украины. Вы пришли сюда, на берег Днепра, через жаркие бои, под грохот орудий, сквозь пороховой дым. Вы прошли с боями сотни километров. Тяжел, но славен ваш путь… Наступил решающий час борьбы. Сегодня мы должны преодолеть Днепр. Разве есть преграда для армии героев, армии освободителей, разве можно остановить полки, которые борются за Родину, за счастье и жизнь человечества!»[28].

Лозунги теперь звали не нести смерть, которая и без того является неизбежным спутником войны, они звали к борьбе за жизнь и счастье. И вот только тогда превосходство решительно перешло на нашу сторону, и слава предков распростерла над советскими войсками свои легкие крыла. Только тогда суворовским языком заговорили советские генералы. Только тогда немного меньше стало литься на полях сражений русской солдатской крови.

«Товарищи солдаты, сержанты и офицеры! Опять настал наш черед! Долго мы его ждали, теперь пора! Все подготовлено к решительному штурму логова фашистского зверя! Успех наш предрешен, все рассчитано, не удержит нас никакая сила… В наступлении нет надобности оглядываться назад. Позади нас движутся огромные силы, и чем дальше мы сумеем продвинуться, тем стремительнее разовьют успех следующие за нами войска. А чтобы меньше пролить крови, наступайте редкой цепью и помните, что траншеи врага не для нас – в них нам делать нечего. Смело перепрыгивайте их и неуклонно, без остановок продвигайтесь вперед. Крепче держите оружие и смелее вперед, славные сыны нашей могучей Родины! На полный и окончательный разгром проклятого врага зовет нас Родина! Вперед, к славе и победе!»[29].

Вот так и не иначе – **к славе и победе** – рефреном звучал призыв советской военной риторики в 1944–1945 гг. В этом обращении Военного совета 3-й армии, зачитывавшемся солдатам в ноябре 1944-го перед форсированием р. Нарев, слышны наставления великого Суворова: «…Подошли ко рву, – ни секунды не медля, бросай в него фашинник… Стрельбой не заниматься; без нужды не стрелять; бить и гнать врага штыком; работать быстро, скоро, храбро, по-русски!»

Нет, не шолоховско-симоновско-эренбурговской «наукой ненависти» взяли немца тысячи советских генералов, сотни тысяч офицеров и миллионы солдат, они взяли воинским умением и доблестью, суворовской «наукой побеждать», написанной на многочисленных полях сражений их **великими предками**, наукой, которой заново учились на фронтах Великой Отечественной, платя за четвертьвековое забвение очень дорогую цену. Но с легкой руки определенной части работников «идеологического фронта», которым после окончания войны надо было как-то доказывать свою востребованность для будущих войн, опираясь на собственный вклад в дело Великой Победы, у нас в стране стали полагать, что воспитание **жгучей ненависти** к врагу может служить повышению боеспособности и даже способствовать достижению победы.

Подытожим: заблуждение, покоящееся на непонимании основного нравственного закона войны, к сожалению, продолжает рассматриваться в качестве одного из направлений морально-психологического обеспечения бое-

вых действий и в наше время. В результате, мы имеем многочисленные примеры недисциплинированности, разнузданного поведения военнослужащих и даже воинских преступлений по отношению к мирному населению в ходе войн и военных конфликтов последнего десятилетия. В результате наши победы очень часто обращаются в отсроченные поражения, а победители, лишенные в собственных глазах и глазах «побежденных» ореола **превосходства**, расплачиваются, с одной стороны, печальной статистикой боевых психических травм, а с другой – распространением военной, политической и социальной напряженности в регионах, становившихся ареной вооруженного противостояния.

Воинское воспитание должно основываться на внедрении в сознание военнослужащих деидеологизированных **позитивных** ценностей героического пафоса – честь, доблесть, мужество, слава, победа, – способствующих формированию профессионально-важных качеств личности и высокой боеспособности войск.

Примечания

[1] Тард Г. Общественное мнение и толпа. М., 1902. С. 14.

[2] Там же. С. 53.

[3] Эти «гады» потом исправно перекочуют и на поля сражений Великой Отечественной войны.

[4] Сирченко М. Танки на Заозерной. М.: Воениздат, 1939. С. 18.

[5] Там же. С. 19.

[6] Бои у Хасана: парт.-полит. работа в боевой обстановке. М.: Воениздат, 1939. С. 73.

[7] Помощника командира по политической части. Так именовались армейские политработники до введения института комиссаров.

[8] Там же. С. 103.

[9] Король М. Д. Вопросы военно-политического воспитания в Красной армии. М.; Л.: Госиздат, 1927. С. 57.

[10] Осьмачко С. Г. Красная армия в локальных войнах и военных конфликтах, 1929–1941 гг.: боевой опыт и воен. политика. Ярославль, 1999. С. 113.

[11] Там же. С. 118.

[12] Левинский Д. Мы из сорок первого…: воспоминания. М.: Новое изд-во, 2005. С. 23.

[13] Другая война, 1939–1945 / под общ. ред. Ю. Н. Афанасьева. СПб.: РГГУ, 1996. С. 24.

[14] Левинский Д. Указ. соч. С. 86.

[15] Жид А. Возвращение из СССР. М.: Моск. рабочий, 1990. С. 544.

[16] Мы все войны шальные дети…: дневники периода Великой Отеч. войны, 1941–1945 гг. Саратов: Приволж. изд-во, 2010. С. 71.

[17] Там же. С. 77.

[18] Пришвин М. М. Дневники, 1940–1941. М.: Росспэн, 2012. С. 543, 547.

[19] Памятка агитатора. М.: Госполитиздат, 1943. С. 29.

[20] Калинин М. И. О пропаганде и агитации. Б. м.: Изд-во Орлов. обкома ВКП (б) и облисполкома, 1944. С. 20.

[21] Его же. Слово агитатора на фронте. Б. м.: Воениздат, 1943. С. 13.

[22] Там же. С. 9.

[23] Там же. С. 12.

[24] Горбатов А. В. Годы и войны. М.: Воениздат, 1989. С. 270.

[25] Выражения из приказа Военного совета Сталинградского фронта № 9 от 20 нояб. 1942 г. // Зверев С. Э. Военная риторика Второй мировой. СПб.: Алетейя. С. 257–258.

[26] Головин Н. Наука о войне: избр. соч. М.: Астрель, 2008. С. 860.

[27] Подевильс К. Бои на Дону и Волге: офицер вермахта на Вост. фронте, 1942–1943. М.: Центрполиграф, 2010. С. 83.

[28] Крайнюков К. В. Оружие особого рода. М.: Воениздат, 1984. С. 18.

[29] Горбатов А. В. Годы и войны. М.: Воениздат, 1989. С. 308.